

1.

В детстве я каждое лето ездил в маленький городок Корюков, к дедушке. Мы ходили с ним купаться на Корюковку, неширокую, быструю и глубокую речку в трех километрах от города. Мы раздевались на пригорке, покрытом редкой, желтой, прямой травой. Из совхозной конюшни доносился терпкий, приятный запах лошадей. Слышалось перестукивание копыт по деревянному настилу. Дедушка загонял коня в воду и плыл рядом с ним, ухватившись за гриву. Его крупная голова, со слипшимися на лбу мокрыми волосами, с черной цыганской бородой, мелькала в белой пене маленького буруна, рядом с дико косящим конским глазом. Так, наверно, переправлялись через реки печенеги.

Я единственный внук, и дедушка меня любит. Я его тоже очень люблю. Он осенил мое детство добрыми воспоминаниями.

Они до сих пор волнуют и трогают меня. Даже сейчас, когда он прикасается ко мне своей широкой, сильной рукой, у меня щемит сердце.

Я приехал в Корюков двадцатого августа, после заключительного экзамена. Опять получил четверку. Стало очевидно, что в университет я не поступлю.

Дедушка ожидал меня на перроне. Такой, каким я оставил его пять лет назад, когда в последний раз был в Корюкове. Его короткая густая борода слегка поседела, но широкоскулое лицо было по-прежнему мраморно-белое, и карие глаза такие же живые, как и раньше. Все тот же вытертый темный костюм с брюками, заправленными в сапоги. В сапогах он ходил и зимой и летом. Когда-то он учил меня надевать портянки. Ловким движением закручивал портянку, любовался своей работой. Потом натягивал сапог, морщась не оттого, что сапог жал, а от удовольствия, что он так ладно сидит на ноге.

С ощущением, будто я исполняю комический цирковой номер, я взобрался на старую бричку. Но никто на привокзальной площади не обратил на нас внимания. Дедушка перебрал в руках вожжи. Лошадка,

мотнув головой, побежала с места бодрой рысцой.

Мы ехали вдоль новой автомагистрали. При въезде в Корюков асфальт перешел в знакомую мне выбитую булыжную мостовую. По словам дедушки, улицу должен заасфальтировать сам город, а у города нет средств.

— Какие наши доходы? Раньше тракт проходил, торговали, река была судоходной — обмелела. Остался один конезавод. Есть лошади! Мировые знаменитости есть. Но город от этого мало что имеет.

К моему провалу в университет дедушка отнесся философски:

— Поступишь в следующем году, не поступишь в следующем — поступишь после армии. И все дела.

А я был огорчен неудачей. Не повезло! «Роль лирического пейзажа в произведениях Салтыкова-Щедрина». Тема! Выслушав мой ответ, экзаменатор уставился на меня, ждал продолжения. Продолжать мне было нечего. Я стал развивать собственные мысли о Салтыкове-Щедрине. Экзаменатору они были неинтересны.

Те же деревянные домики с садами и огородами, базарчик на площади, мага-

зин райпотребсоюза, столовая «Байкал», школа, те же вековые дубы вдоль улицы.

Новой была лишь автомагистраль, на которую мы опять попали, выехав из города на конезавод. Здесь она еще только строилась. Дымился горячий асфальт; его укладывали загорелые ребята в брезентовых рукавицах. Девушки в майках, в надвинутых на лоб косынках разбрасывали гравий. Бульдозеры блестящими ножами срезали грунт. Ковши экскаваторов вгрызались в землю. Могучая техника, грохоча и лязгая, наступала на пространство. На обочине стояли жилые вагончики — свидетельство походной жизни.

Мы сдали на конезавод бричку и лошадь и пошли обратно берегом Корюковки. Я помню, как гордился, впервые переплыв ее. Теперь бы я ее пересек одним толчком от берега. И деревянный мостик, с которого я когда-то прыгал с замирающим от страха сердцем, висел над самой водой.

На тропинке, еще по-летнему твердой, местами потрескавшейся от жары, шуршали под ногами первые опавшие листья. Желтели снопы в поле, трещал кузнечик, одинокий трактор подымал зябь.

Раньше в это время я уезжал от бабушки, и грусть расставания смешивалась тогда с радостным ожиданием Москвы. Но сейчас я только приехал, и мне не хотелось возвращаться.

Я люблю отца и мать, уважаю их. Но что-то сломалось привычное, изменилось в доме, стало раздражать, даже мелочи. Например, мамино обращение к знакомым женщинам в мужском роде: «милый» вместо «милая», «дорогой» вместо «дорогая». Что-то было в этом неестественное, претенциозное. Как и в том, что свои красивые, черные с проседью волосы она покрасила в рыже-бронзовый цвет. Для чего, для кого?

Утром я просыпался: отец, проходя через столовую, где я сплю, хлопал шлепанцами — туфлями без задников. Он и раньше ими хлопал, но тогда я не просыпался, а теперь просыпался от одного предчувствия этого хлопанья, а потом не мог заснуть.

У каждого человека свои привычки, не совсем, может быть, приятные; приходится с ними мириться, надо притираться друг к другу. А я не мог притираться. Неужели я стал психом?

Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе. О людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел. О каком-то негодяе Крептюкове — фамилия, ненавистная мне с детства; я готов был задушить этого Крептюкова. Потом оказалось, что Крептюкова душить не следует, наоборот, надо защищать, его место может занять гораздо худший Крептюков. Конфликты на работе неизбежны, глупо все время говорить о них. Я вставал из-за стола и уходил. Это обижало стариков. Но я ничего не мог поделать с собой.

Все это было тем более удивительно, что мы были, как говорится, дружной семьей. Ссоры, разлады, скандалы, разводы, суды и тяжбы — ничего этого у нас не было и быть не могло. Я никогда не обманывал родителей и знал, что они не обманывают меня. То, что они скрывали от меня, считая меня маленьким, я воспринимал снисходительно. Это наивное родительское заблуждение лучше снобистской откровенности, которую кое-кто считает современным методом воспитания. Я не ханжа, но в некоторых вещах между детьми и родителями существует дистанция, есть сфера, в которой следует соблюдать сдержанность;

это не мешает ни дружбе, ни доверию. Так всегда и было в нашей семье. И вдруг мне захотелось уйти из дома, забиться в какую-нибудь дыру. Может быть, я устал от экзаменов? Тяжело переживаю неудачу? Старики ни в чем меня не упрекали, но я подвел, обманул их ожидание. Восемнадцать лет, а все сижу на их шее. Мне стало стыдно просить даже на кино. Раньше была перспектива — университет. Но я не смог добиться того, чего добиваются десятки тысяч других ребят, ежегодно поступающих в высшие учебные заведения.

2.

Старые гнутые венские стулья в маленьком дедушкином доме. Скрипят под ногами ссохшиеся половицы, краска на них местами облупилась, и видны ее слои — от темно-коричневого до желтовато-белого. На стенах фотографии: дедушка в кавалерийской форме держит в поводу коня, дедушка — объездчик, рядом с ним два мальчика — жокеи, его сыновья, мои дяди, — тоже держат в поводу лошадей, знаменитых рысаков, объезженных дедушкой.

Новым был увеличенный портрет бабушки, умершей три года назад. На портрете она точно такая, какой я ее помню, — седая, представительная, важная, похожая на директора школы. Что в свое время соединило ее с простым лошадиником, я не знаю. В том далеком, отрывистом, смутном, что мы называем воспоминаниями детства и что, возможно, есть только наше представление о нем, были разговоры, будто из-за дедушки сыновья не стали учиться, заделались лошадиниками, потом кавалеристами и погибли на войне. А получи они образование, как хотела бабушка, их судьба, вероятно, сложилась бы по-другому. С тех лет у меня сохранились сочувствие к дедушке, который никак не был виноват в гибели сыновей, и неприязнь к бабушке, предъяснявшей ему такие несправедливые и жестокие обвинения.

На столе бутылка портвейна, белый хлеб, совсем не такой, как в Москве, гораздо вкуснее, и вареная колбаса неопределенного сорта, тоже вкусная, свежая, и масло со слезой, завернутое в капустный лист. Что-то есть особенное в этих простых произведениях районной пищевой промышленности.

— Пьешь вино? — спросил дедушка.

— Так, понемногу.

— Сильно пьет молодежь, — сказал дедушка, — в мое время так не пили.

Я сослался на большой объем информации, получаемой современным человеком. И на связанную с этим обостренную чувствительность, возбудимость и ранимость.

Дедушка улыбался, кивал головой, как бы соглашаясь со мной, хотя, скорее всего, не соглашался. Но свое несогласие он выражал редко. Внимательно слушал, улыбался, кивал головой, а потом говорил что-нибудь такое, что хотя и деликатно, но опровергало собеседника.

— Я как-то раз выпил на ярмарке, — сказал дедушка, — меня мой родитель так вожжами отделал.

Он улыбался, добрые морщинки собирались вокруг его глаз.

— Я бы не позволил!

— Дикость, конечно, — охотно согласился дедушка, — только раньше отец был глава семьи. У нас, пока отец за стол не сядет, никто не смеет сесть, пока не встанет — и не думай подыматься. Ему и первый кусок — кормилец, работник.

Утром отец первым к умывальнику, за ним старший сын, потом остальные — соблюдалось. А сейчас жена чуть свет на работу убегает, поздно приходит, усталая, злая: обед, магазин, дом... А ведь сама зарабатывает! Какой муж ей авторитет? Она ему уважения не оказывает, за ней и дети. Вот он и перестал чувствовать свою ответственность. Зажал трешку — и за пол-литром. Сам пьет и детям показывает пример.

В чем-то дедушка был прав. Но это только один аспект проблемы, и, возможно, не самый главный.

Точно угадав мои мысли, дедушка сказал:

— Я не призываю к кнуту и к домострою. Как раньше люди жили — их дело. Мы за предков не отвечаем, мы за потомков отвечаем.

Правильная мысль! Человечество отвечает прежде всего за своих потомков!

— Сердца вот пересаживают... — продолжал дедушка. — Мне семьдесят — на сердце не жалуясь, не пил, не курил. А молодые и пьют и курят — вот и подавай им в сорок чужое сердце. И не подумают, как это: нравственно или безнравственно?

— А ты как считаешь?

— Я считаю, безусловно, безнравственно. На все сто процентов. Лежит человек в больнице и ждет не дождется, когда другой сыграет в ящик. На улице гололед, а ему праздник: кто-нибудь расшибет котелок. Сегодня пересаживают сердца, завтра возьмутся за мозги, потом начнут из двух несовершенных людей делать одного совершенного. Например, слабосильному вундеркинду пересадят сердце здорового болвана или, наоборот, болвану — мозги вундеркинда; будут, понимаешь, свинчивать гениев, а остальные на запчасти.

— Есть у меня один знакомый писатель, — поддержал я дедушкину мысль, — хочет написать такой рассказ. Больному человеку пересаживали сердца от разных зверей и животных. Но ни с одним таким сердцем он не мог жить — перенимал характер того зверя, от которого получал сердце. Сердце льва — становился кровожадным, осла — упрямым, свиньи — хамом. В конце концов он пошел к врачу и сказал: «Верните мне мое сердце, пусть больное, но зато мое, человеческое».

Я сказал неправду. Знакомых писателей у меня нет. Этот рассказ я собирался